

Александр Мардань – Виктор Ерофеев

«Вся культура – это борьба с энтропией...»

Драматург, заслуженный деятель искусств Украины Александр Евгеньевич Мардань беседует с писателем, литературоведом, теле- и радиоведущим Виктором Владимировичем Ерофеевым.

М.: – Виктор Владимирович, среди прочих наград вы награждены орденом Искусств и литературы в 2006 и орденом Почетного легиона в 2013 году. За что вы эти ордена получили, и что в вашей жизни значит Франция?

Е.: – В одном из рассказов, который так и называется, «Орден Почетного легиона», я представил реакцию моих родителей. Они к тому моменту уже умерли, хотя жили долго и красивой жизнью. Они умерли, а я получил орден. Папа бы мой сказал: «Тоже мне, дали орден, ему уже давно пора было дать, столько много он сделал для Франции. Там была история французской послевоенной литературы, даже маркиза де Сада представил. Первое эссе его на русском языке, до этого не было». Папа к этому бы отнесся как к запоздалому явлению, запоздалой награде. А мама бы сказала: «Странные французы. Почитали бы, что он пишет, никогда б тогда он этот орден не получил».

Мне французы, когда я получил орден, сказали: «Мы живем таким образом, чтобы этого ордена не получить».

На что я сказал: «Ну, я, наверное, так же живу, чтобы ничего не получить в России». Ничего и не получил в России.

Орден Почетного легиона – наверное, самый крупный в мире. Даже Битлз и другие великие музыканты этим орденом хвастаются. Считается, что выше его нет. Это международный орден, учрежден еще Наполеоном. Но для меня он главным образом це-

нен тем, что я получил вместе с ним такую карточку, которая дает мне возможность спокойно ездить по Европе без всяких виз. Так что в этом смысле украинцы вот только что меня догнали.

М.: – Часть вашего детства прошла во Франции. Отец был дипломатом, работал в Париже. Расскажите немного об этом. Какое влияние Франция и время, проведенное там, на вас оказали?

Е.: – Огромное влияние. Даже климатическое. Я приезжаю в Одессу, и для меня белая акация и платаны – это встреча с детством, встреча с жизнью. Осины и березы как-то так и остались у меня где-то на заднике. И потом, мы жили во Франции второй половины 50-х годов, это была поразительная Франция, Франция возрождения. Прекрасная литература, Сартр, Камю. Я был знаком с Луи Арагоном. Это была невероятная Франция – по своему духу, ценностям, по своему вкусному эстетическому чувству. Они одинаково вкусно делали сады, сажали цветы, вкусно ели.

А еще – мне было тогда десять-одиннадцать лет – меня невероятно тянуло на марочный рынок на Елисейских Полях. Коллекционирование марок в Москве – это подворотни, барышники, криминал. А там во всем размахе были представлены марки всех стран, и возникало ощущение, что ты как-тоходишь в систему всего мира.

Мы ездили на Каннский фестиваль. Я познакомился с Пикассо – в местечке на юге Франции в ресторанчике, – он даже разукрасил рисунок моей пятерни.

Из-за этого я не смог стать советским человеком.

Парадокс заключался в том, что мой папа, советник по культуре, признался в этом позже, но я об этом знал – он возил чемоданами деньги для французской компартии и передавал их через Пикассо – якобы покупали картины. На самом деле везли черный нал. И это все было для того, чтобы разрушить прекрасную Францию, чтобы пришли коммунисты или чтобы просто ослабить ее. А с другой стороны – и мама, и папа, и я, и брат, который родился во Франции, – мы настолько пропитались Францией, что без нее никак не могли обойтись.

М.: – Вы учились во французской школе?

Е.: – Нет. Это мой брат учился. Во французской школе было запрещено учиться детям дипломатов, а вот детям журналистов можно было. Так что я учился в маленькой советской школе возле Булонского леса.

М.: – Виктор Владимирович, конечно, Украина не может занимать в вашей жизни такое же место, как Франция, но все-таки расскажите – что для вас Украина вообще и Одесса в частности?

Е.: – Украина как раз занимает достаточно большое место в моей жизни, даже в частном порядке. Потому что у меня первая жена – полька из Варшавы, вторая жена была из Черновцов, семья их жила в Феодосии, третья жена русская. Видите, как я откатываюсь на восток, – наверно, скоро будет японка.

Но если говорить всерьез, моя дочка Майя Викторовна Ерофеева наполовину украинка, и все мои издатели западные смеются, потому что запомнили фразу немецкого издателя: «Как она на тебя похожа, но при этом такая красивая».

Она, естественно, каждый год ездила в украинский Крым, и вообще, ходит в украинское посольство голосовать со своей мамой, мама поддерживает связи с Украиной.

Так что в частной жизни это был большой кусок, десять лет. Мы строились на берегу Черного моря, в Коктебеле. Приезжали и сюда, были на Западной Украине.

Моя любовь начиналась с частной жизни, а потом я увидел, что страна интересная, красивая, яркая.

Я открыл для себя красивейшие места деревенской части Западной Украины.

Бруно Шульц жил и был убит в Дрогобыче. Я как раз писал о Бруно Шульце – как о писателе, который превратил своего отца в бога, и бог явился ему в форме отца. Такая вот история, связанная с еврейской культурой, польской культурой и патриархальной вообще. Для меня это было очень важно, и Бруно Шульца я до сих пор очень люблю.

Что касается Одессы – первым впечатлением было то, что меня здесь обокрали цыганки. Я поднимался по Потемкинской лестнице, они подошли погадать, и я почему-то решился.

М: – Видимо, вы поддались гипнозу.

Е.: – Наверное. Они украли у меня всё, все деньги. Карточек тогда не было, я остался без денег в чужом городе. Но тут ко мне подошел какой-то одессит, с которым мы потом долгое время общались, он снабдил меня деньгами, я смог улететь в Москву.

Город, конечно, с самого начала производил очень сильное впечатление, хотя был в лохмотьях. Сейчас он гораздо лучше выглядит. Мне красота Одессы напоминает объективную красоту Парижа или Петербурга. Она как красавица, которая не требует особого внимания.

М.: – Которая не торопится замуж.

Е.: – Она может вести разгульный образ жизни, но она знает, чего хочет. Я здесь живу в Лондонской гостинице, в номере Луи Арагона. Я знал его по Парижу, теперь он умер уже. Получается, что все закольцовывается. Так что все правильно. И получается, что Одесса втягивает в себя для того, чтобы каким-то образом осуществить мечту теплого климата в ближайшем пространстве. Одесса это Средиземноморье, безусловно. Здесь люди говорят на том языке, который для меня является рабочим языком, это мой, что называется, трудовой язык. И с другой стороны, люди в целом очень доброжелательные, гораздо более мягкие, чем у нас в России, где борьба за существование очень жесткая.

Так что Одесса меня притягивает и ничем не разочаровывает, а видите, началось все с ограбления.

М.: – Наверное, самый известный из живущих ныне одесситов, Михаил Михайлович Жванецкий сказал, что история России это история борьбы невежества с несправедливостью. А с чем вам в жизни больше приходилось бороться?

Е.: – Надо сказать, что невежество это не русское понятие. Вообще, сейчас в мире эпидемия глупости, и она распространяется со страшной скоростью. Она исходит из разных стран.

Англия, которая всегда считалась цивилизованной страной, сейчас проголосовала за выход из Европы, что абсолютная глупость, со всех сторон глупость.

И понятие демократии, которая давала возможность людям быть свободными и чувствовать себя личностями, – вырождается, превращается в невежество. Потому что большинство никогда не может быть право. Если бы большинство было право, мы бы до сих пор считали, что Земля это центр Вселенной, и вокруг нее Солнце крутится. Мне страшно подумать, но говорят, что 20 процентов населения России считают, что так и есть, что Земля центр Вселенной.

М.: – Помните, «сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья».

Е.: – Да, это Евтушенко. В данном случае он сыграл в либеральную игру. На самом деле тут больше, тут рушилось все представление христианской теологии о мироздании. Если Земля просто болтается в небе, где же наш бог, и так далее. Евтушенко все-таки тогда больше работал на оттепель, чем на философию. Так что невежество не чисто русское явление. И во Франции тоже. Они, правда, сейчас одумались. Я туда езжу часто, живу там время от времени. В Нормандии, например, более половины людей верили в Марин Ле Пен, которая тоже развалила бы Европу, как это сделали англичане. Это чудовищная глупость.

Что касается несправедливости – дело в том, что в каждой стране свое понятие справедливости.

Русское понятие справедливости сильно отличается от английского, если брать в классическом варианте. Или от японского. Здесь бы я так не спешил. У Жванецкого это красивая фраза, но она, честно говоря, ничего не определяет.

Справедливость русской соборности, православной, она как раз заключается в том, что местоимение «мы» важнее местоимения «я». Но пойдя с этим к французам – и он тебя высмеет, потому что для него «мы» – исключительно тогда, когда объединяются в борьбе за повышение зарплаты или за то, чтобы не было каких-то глупостей сделано мэрией или страной, а главное – это «я». И если в русской системе ценностей государство важнее человека, то в западной – человек важнее государства, и давайте спросим, где тут справедливость. Понятное дело, что справедливости мы никогда не найдем, потому что это разные системы ценнос-

тей. И если мы возьмем японский вариант, то это будет совершенно не связано ни с западной системой, ни с нашей.

М.: – Мне показалось, что его мысль заключалась в том, что когда приходят более справедливые, они менее компетентны. Когда приходят более компетентные – они менее справедливы. Наверное, он имел в виду это противоречие. То, что мы, может быть, наблюдаем в Украине. Те крайности, которые привели к революции Достоинства, отошли на второй план, но совершается множество ошибок. Именно в силу некомпетентности тех или иных людей, которые пришли.

Е.: – Знаете, когда мой польский друг Стефан Меллер, после того как был послом в Москве, стал министром иностранных дел, мы продолжали дружить. Однажды мы сидели в ночном баре в Варшаве, где он уже прятался от людей, потому что был узнаваем, и я его спросил: «Стефан, скажи, пожалуйста, вот ты видишь сейчас президентов, министров – кто в Европе умные люди, и есть ли они, те, кто знает стратегическое назначение Европы?». Он сидел-сидел, думал, потом ответил: «Да, есть один, в Люксембурге». Поэтому, мне кажется, то, что происходит здесь, в Украине, – конечно, по-русски надо говорить «на Украине», но я уже настолько слышался, что надо говорить «в Украине», так и говорю теперь – так вот, это миф о Европе... Как мы берем миф о Японии или Китае. Реальность никогда не соответствует мифу. Но идти в Европу надо обязательно, другого пути нет, и мы в какой-то момент тоже придем. Хотя мы сейчас делаем ровно противоположные шаги.

Не надо думать, что Европа компетентна и находится в своем расцвете. Наоборот, она сейчас находится в состоянии опустошенного чердака. Метафизика ушла из Европы. На чердаке не живет бог.

Могу вспомнить польский пример. Поиски примера очень важны для наших стран.

У меня была передача, беседа с самыми интересными людьми мира. И я для начала сделал с Вайдой, потому что мы дружили. Анджей – представляете, вот европеец был – он предложил мне написать сценарий о Катыни, где его отец был расстрелян. Мне, русскому писателю. Не поляку, не французу, не американцу, а мне.

Но там было все настолько радикально, что продюсеры его решение не приняли, хотя некоторые вещи, которые я разработал, остались.

Вайда, один из самых сильных режиссеров XX века, хотел сделать фильм о хорошем Сталине по моей книжке. Тоже не получилось.

Когда мы встретились с Вайдой на этой моей передаче, за год до его смерти, он сказал: «Знаешь, Польша сохранила себя как Польша благодаря католической церкви, потому что во время немецкой оккупации церкви помогли сохранить полякам достоинство».

Теперь для Украины это слово звучит тоже важно.

Утрата метафизики, утрата тех абсолютных ценностей, на которых стояла Европа еще лет 30-40 назад, разрушение их, это очень опасно.

Вы не в пустоту идете, вы идете в классическое представление о Европе. И не удивляйтесь, что вас там встретят не те тени, на которые вы рассчитываете.

А с другой стороны, почему здесь должны прийти компетентные люди? Где вы их тут нашли?

М.: – Как когда-то говорил, не к ночи будь упомянутый, товарищ Сталин: «А других писателей у меня для вас нет». Нет других деятелей, нет другой Европы.

Е.: – Распад христианства европейского это довольно болезненное явление, с другой стороны – и не удивительное. Потому что символы, которые характеризуют эту религию, безнадежно устарели. Эти символы ушли на пенсию, как ушли греческие боги. Мы же не можем сказать: «Верните нам их». И Христос тоже уходит. Потому что соединение современного мира с метафизикой христианства очень трудно. Если все это отдавать в руки символизма, то слишком много символизма. А буквально с этим справиться трудно. Получается, что этот металл разрушается естественным образом. Значит, должна прийти новая религия, глобальная религия, которая принесет те символы, с которыми мы сможем согласиться, так же, как греки согласились с христианскими символами, когда их боги оказались слишком мате-

риальными и человекоподобными. Так что мы сейчас в ожидании будущего бога. Как в Древней Греции стояли памятники неведомому богу.

М.: – Но Федор Михайлович утверждал, что людям не нужен бог, людям нужны гарантии. «Дайте людям гарантии – и вы станете для них богом».

Е.: – Это он насчет Великого инквизитора говорил. Здесь как раз Достоевский лукавил. Поскольку я писал диссертацию о Достоевском, то позвольте разъяснить. Он совершенно справедливо говорил о том, что католическая церковь превращается во властную структуру. А властной структуре нужен не бог, а только понятие власти. Надо сказать, что у нас православие еще больше превратилось во властную структуру, прямо у меня на глазах. Поэтому его выпад против христианства был нелеп, так как любая религия, приближаясь к власти, обретает властный кулак. И бог уходит на другой план.

Я помню, когда мой друг Дима Киселев был либеральным мыслителем, я у него был на передаче по поводу религии. Тогда вот только-только поднималась волна православия, в студии сидели религиозные деятели и говорили, кому должна служить церковь православная. Рассуждали, разные варианты были. Я сказал: «Как кому? Богу, конечно, кому ж еще?». И это было как откровение.

Так что совершенно здесь не обязательно с Федором Михайловичем договариваться. И потом, Федор Михайлович находился как раз в таком историческом периоде, когда вера утрачивалась в России. У него в «Бесах» Шатов как раз ловит бога, как зайца, за задние лапы. Достоевский очень жестко об этом пишет. «Если докажешь, что истина принадлежит не Христу, то я все равно пойду за Христом, а не за истиной». И эти слова можно считать лозунгом XX века тех людей, которые тоже сомневались, но, тем не менее, понимали, что с Христом можно как-то справиться в плане морали. А сейчас этот постмодерный распад заключается в том, что все становится относительным, но это как раз хорошая почва для принятия идеи ожидания нового бога. В Древней Греции стояли памятники новому богу, о чем Плотин писал, в конце концов он и пришел.

Сейчас в Америке говорят: «Если тебя пригласили в гости, и ты во время обеда стал рассуждать о боге, то тебя больше не пригласят». Потому что это ни к чему.

Все эти системы плохо отточены, мы блуждаем в потемках. Но, в конце концов, если человечество хочет дальше продолжать жить, нужна такая закрепительная религия. Неизвестно, когда она возникнет и где. Может, в Калькутте. Или у каких-то наркоманов в Гарлеме. В конце концов, христианство, как известно, зародилось среди таможенников и рыбаков.

М.: – Горький когда-то называл писателей инженерами человеческих душ. Вы в одном из своих интервью говорили, что считаете себя стоматологом, который занимается проблемами души, лечит черные пятна, удаляет зубы без боли. Есть еще определение, что писатель – не тот, кто пишет, а тот, кого читают. От вас я слышал, что писатель – тот, кто находит нужные слова и составляет их в правильном порядке. Какое, на ваш взгляд, сегодня наиболее точное определение этого понятия?

Е.: – Писатель это такое подразделение общего культурного потока. Давайте лучше зададимся вопросом, что такое культура. Я для себя определил, что это борьба с энтропией. Мы ехали с вами по Одессе, и энтропия была видна – осыпающийся ракушечник и прочее. Чем должна заниматься культура? Решать вопросы, чтобы не развалились эти дома. И это в разных проявлениях – это связано с личностью человека, с личностью президента. Чтобы и он тоже не падал от глупости своей. Это не кулачная борьба, а оказание сопротивления и поиск выхода. Если есть творение, есть и антитворение. Если ты включаешься в борьбу, то становишься со-творением. Вся культура – от газонов английских и цветов, и заканчивая Достоевским или другим великим писателем – это борьба с энтропией.

Энтропию можно побеждать энтропией.

Например, роман Кафки «Замок» – это абсолютная энтропия. Но, читая, ты лучше понимаешь, что такое энтропия, и стараешься этому не подвергаться.

Что касается слова, то здесь я бы сказал так: если журналист является мастером слова, то писатель – раб слова. Писателю надо

выпустить слова на свободу. Эта теория находит подтверждение у каждого интересного писателя. Но проще всего сформулировала Цветаева: «Поэта далеко заводит речь». То есть не поэт заводит речь, а поэта. Он открывает возможность слову самопроизводиться. И тогда слово становится более значимо, чем он, и тогда что-то получается с литературной тайной. А журналист берет слово под уздцы, как лошадь, и ведет от пункта А к пункту Б. Здесь нет ничего плохого, это просто другое отношение к слову. И если сравнивать, то, может, в общественном плане журналист находится в более ответственной позиции, чем писатель, потому что он хочет каким-то образом сохранить общественный порядок. В хорошем смысле этого слова. А писатель может быть безответственным, но, отпуская слова на свободу, он как раз и борется с энтропией. Журналист понятие энтропии может игнорировать, потому что это не его дело. Тут разные колебания происходят, но я думаю, что нужны и те, и другие. Процентом девяносто писателей сейчас даже не понимают, о чем я говорю. Они думают, что писательство – это продолжение журнализма: вот, напишу-ка я про войну на Донбассе, и стану как Ремарк, у него «На Западном фронте без перемен», я назову «На Восточном фронте без перемен», и будет хорошая книга.

Наверное, будет хорошая.

Но если ты изначально знаешь, что сделаешь, то это журналистская работа, которая может прославить героев, описать ситуации. Но это не писатель. Писатель, например, Кафка. Ну не только он, Цветаева, безусловно, и вообще, много других. Но этих многих на самом деле очень мало.

М.: – Кто из них оказал наибольшее влияние на ваше творчество?

Е.: – Я начинал с Достоевского. На втором курсе университета я написал курсовую «Религиозный идеал Достоевского в «Бесах». Мне мой профессор сказал: «Ты не возражаешь, если я тебе 4 поставлю? Потому что работа получилась не очень идеологически выдержанная, и если я 5 поставлю, то будут проблемы».

А первая моя работа была «Неологизмы Хлебникова». Меня очень волновала идея словотворчества. Из этой работы, кстати говоря, произошел мой вход в литературу.

Дело в том, что мой отец был на тот момент послом Советского Союза в Сенегале и в Гамбии. Мы туда ездили, брат учился там во французской школе. В какой-то момент туда поехали Евтушенко и Долматовский, на конгресс «Негритюд» по культуре черной Африки. Там моя мама в Евтушенко влюбилась, он тогда был красавец и всех очаровывал. Мама ему сказала, что сын занимается литературой. Ну, как я занимался – мне было восемнадцать, я окончил первый курс, писал восторженно о Хлебникове. И вот мне звонит Евтушенко. «Здравствуйте, это говорит поэт Евгений Евтушенко»... Недавно я подумал, кто бы сейчас мог такое сказать. Тогда «поэт» звучало почти как «министр». Даже больше. Он был абсолютным кумиром, и если бы мне позвонил Брежнев, я бы меньше удивился. «Ваша мама сказала, что вы написали про Хлебникова. Можете дать почитать?» Я отнес свою работу в Центральный дом литераторов, он ее прочитал и через какое-то время позвал к себе поговорить. Я поехал к нему в Амбулаторный переулок. Был дождливый июнь, в прихожей с моих ботинок натекло много воды. Он сказал подождать, пока он закончит урок испанского языка. Испанский язык ему преподавал кубинец. Я сидел почти в луже и страшно переживал, что пришел к своему кумиру и залил весь пол. Как только кубинец ушел, тут же, как в театре, сменились декорации, раздался звонок, и на пороге возникли Аксенов и Бродский. Евтушенко сказал: «Знакомьтесь». Аксенов протянул руку и доброжелательно произнес: «Вася». Бродский строго сказал: «Иосиф». Евтушенко показал на меня и представил: «А это гениальный исследователь Хлебникова». Они все ахнули, обалдели совершенно. Мы провели вместе всю ночь, потом мы с Васей стали друзьями и сделали альманах «Метрополь».

Такой вот был мой вход в литературу.

Мы пили всю ночь джин с тоником, чего в Советском Союзе можно было пожелать только каким-то эстетам и снобам, курили сигареты «Winston» и рассуждали о литературе. К концу ночи Евтушенко достал толстый американский журнал «Free Quarterly», это издательство «Artists» стало издавать книгу о русской литературе. Выяснилось, что там есть статьи про всех, но только никто из них не говорил по-английски, кроме меня. И я им читал

и переводил. Причем у меня был такой избыточный восторг, что я преувеличивал во время перевода все их успехи и достижения, давал им такие эпитеты, которых в журнале не было. Они были очень довольны.

Так что все это случилось через Хлебникова.

Если говорить чисто хронологически, то Хлебников, Достоевский.

Третьим моим учителем был маркиз де Сад. Он мне многое объяснил.

М.: – Вы выросли в элитной советской семье. Отец был какое-то время личным переводчиком у товарища Сталина. Вы провели детство, о котором мечтало все многомиллионное население страны. И при этом вы входите в «Метрополь».

Е.: – Я его создаю.

М.: – Да, вы его создали. Вы понимали, что это могло закончиться не только исключением из Союза писателей? Или времена уже были достаточно вегетарианские?

Е.: – Мы делали его в 1978, а в 1974 была знаменитая бульдозерная выставка, когда бульдозерами снесли картины. Потом власть одумалась, и была выставка на ВДНХ и в Измайловском парке. Получилось, что власть попятилась. Я подумал, что могу организовать такую выставку литературы, чтобы поставить власть в такое же положение, чтобы она попятилась и дала свободу литературе.

М.: – Сколько вам было тогда лет?

Е.: – Мне было тридцать, когда я начал разрабатывать это, а в тридцать два меня уже отовсюду выгнали. Я соблазнил сначала Аксенова, это вообще была история соблазнения. Я придумал все, я понимал, какие авторы нам нужны, какие не подходят. Я жил тогда напротив Ваганьковского кладбища, и каждый день похоронная музыка вливалась в окно, я понял, что надо похоронить советскую литературу вместе со всеми. Так что сначала я соблазнил Аксенова просто сделать такой альманах. Потом я ездил соблазнять Битова в Переделкино.

М.: – Все понимали тогда, что это будет расценено как антисоветская акция?

Е.: – Мы попытались сделать так, чтобы расширить возможности литературы. Антисоветская акция сразу бы захлебнулась. Там были не дураки и понимали советскую власть лучше, чем она сама себя понимала. Это была игра на грани. И можете себе представить, мы почти выиграли. КГБ сказал, что, может быть, действительно надо напечатать, во избежание международных скандалов. Об этом потом писали в перестройку.

Но победила охранительная позиция. И они нас закатали.

Больше всего досталось нам с Поповым и моему отцу. Его выгнали с работы.

М.: – На тот момент он был вице-президент ЮНЕСКО?

Е.: – Нет, он на тот момент он был советским послом в Вене при международной организации, это было атомное агентство, очень большая должность. Он должен был вернуться в Москву заместителем министра иностранных дел, и тут случилось все это.

Отца вызвали из Вены и сказали: «Если сын напишет покаянное письмо, которое напечатают в «Правде» и «Литературной газете», то можно будет вернуться в Вену, а если не напишет – то конец тебе». Это папе сказал Громыко.

Мы тогда попали в сложную ситуацию. С одной стороны, отец, который мне сделал «золотое детство» и вообще всё, а с другой стороны – эти люди. Написать такое письмо, конечно, значило поставить на себе крест.

Тогда политбюро, вернее, Зимянин, который был...

М.: – ...секретарь по идеологии.

Е.: – Да, точно. Зимянин папе, с которым они играли в теннис, сказал: «Передай Виктору, что если он не напишет письмо, то костей не соберет». После чего папа, конечно, немного зажался.

М.: – Он не понимал степень буквальности этого предложения.

Е.: – Он понимал, что меня могут просто растерзать. Забрать в армию и уничтожить. Так что все было довольно жестко. А в МИДе ему предложили от меня отречься. Прошло сорок дней,

а мы никак не могли найти решение, потому что понимали, что любое решение может привести к дурным последствиями. Поэтому папа, получая зарплату в долларах как советский посол, сорок дней работал только со мной, ничего больше не делал.

Где-то на сороковой день вечером мы сидели с папой в его квартире на улице Горького, ужинали сосисками (от нас тогда домработница ушла, испугавшись: сказала, что Виктора расстреляют, и ушла в слезах), и папа, советский дипломат, посол в Вене, мне говорит: «Знаешь, в этой истории уже есть один труп. Этот труп – это я. Если ты напишешь письмо, у нас в семье будет два трупа».

И я не написал. Меня тоже отовсюду выгнали. Я не подписал письмо, и это стало основой книги. Я ее написал, естественно, позднее, спустя двадцать лет.

М.: – Виктор Владимирович, в одном из интервью вы сказали, что Россия живет по определенной сказке, где роли постоянны, меняются только исполнители. Роли такие: царь, серый волк, Баба-яга, три брата.

Е.: – И Кощей Бессмертный, это очень важно.

М.: – Ну, кто царь, нам понятно. А вот как сегодня остальные роли распределены?

Е.: – Эти роли не закреплены в классическом порядке, царь может быть и Кощеем, и наоборот. С братьями четкая история, есть Иванушка-дурачок, явно не интеллигенция. Интеллигенция это старший брат. Средний брат – средний класс. Младший, Иван-дурак, это население, которое мечтает иметь больше денег, но при этом не работает. Серый волк – олигархи.

М.: – Знаете, чем отличаются украинские олигархи от русских? У них денег нет.

Е.: – У русских олигархов деньги завязаны на власть, и если они начинают дергаться, как, например, Ходорковский, то на следующий день у них тоже денег нет.

М.: – Почему его отпустили?

Е.: – А потому, что он уже был не нужен власти. Держать его было менее выгодно. Путин человек тактически очень грамотный, и он понял, что перед Олимпиадой лучше девчонок из «Пуси Райот» выпустить, это все снимет какие-то вопросы международные. Потом его отправили за границу. Русская эмиграция всегда превращается в непримиримую оппозицию, и вместо того чтобы решать вопросы развития страны, объясняет, почему в страну ехать не надо, не надо никаких компромиссов с властью. В итоге получается абсолютный тормоз. Потому что если нет никаких компромиссов, куда ж тогда движется страна? Даже Ленин предлагал большевикам участвовать в царской Думе.

М.: – Виктор Владимирович, теперь несколько коротких вопросов. Скажите, какой самый счастливый день вашего детства? Или счастливые дни.

Е.: – У меня все детство счастливое, и парижское, и сталинское. У меня вообще тогда не было никаких горестей. Один из памятных дней – ну кроме того, что Пикассо нарисовал мою руку, – мы ехали в Канны на фестиваль и по дороге я увидел большие кактусы. Они вызвали такой восторг, что я их схватил, и потом все руки были в колючках.

М.: – А самый счастливый день вообще в жизни?

Е.: – Тут могут многие обзавидоваться. Когда «Русская красавица» выходила в Париже, ее сначала французские издатели прокрутили на французской ярмарке. Вообще, представление о том, что ты можешь создать свой успех, – ошибочное представление. Нет сил человеческих создать такой успех. Я никак не участвовал в успехе «Русской красавицы», ничего я не делал. И вдруг после французской ярмарки мне звонит из Парижа мой американский издатель, я лечу туда, меня ведут в ресторан, заказывают шампанское и говорят: «Держись за стул, мы сейчас новость скажем: твою книгу купили четырнадцать самых лучших издательств мира». Самых лучших. Это и престиж, и успех, и деньги. Я, конечно, недели две ходил под впечатлением.

М.: – Помню ваше выражение, что после этого успеха многие ваши друзья растрескались.

Е.: – Потому что друзья познаются не в беде, а в успехе. Я тогда ездил в Америку преподавать, так от меня даже американские профессора разбежались.

М.: – Виктор Владимирович, вы верите в бога или только в себя?

Е.: – Когда пишешь книги, то не можешь не верить в бога. Потому что энергия идет нематериальная.

М.: – А в загробную жизнь?

Е.: – Естественно, если веришь в бога, то знаешь, что загробная жизнь в том или ином виде есть.

М.: – В чем, на ваш взгляд, отличие национализма от патриотизма?

Е.: – Мне кажется, это стертые понятия. Патриот пропагандистское слово. Националист – ругательное. Это стершиеся монеты. Националисты думают, что их родина лучше всех остальных, а это бред. В других странах свои националисты. Собери всех националистов – каждый будет кричать, что его родина лучше.

М.: – Тем не менее у них происходят некоторые союзнические отношения.

Е.: – Это временно. Сталин с Гитлером тоже дружили. Временно. А патриот – это извращенное слово. Этот тот, кому внушили, что государство и страна – одно и то же.

М.: – Как говорил один хороший писатель, не нужно путать отечество с вашим превосходительством. Какой вы бы хотели видеть Украину лет через десять?

Е.: – Такой, как Франция, например. Процветающей страной с четкими хорошими ценностями.

М.: – А вдруг лет через десять во Франции Ле Пен будет президентом?

Е.: – Ничего нельзя исключать. Макрон сейчас, кстати говоря, преобразит Францию довольно сильно.

М.: – В лучшую сторону.

Е.: – Конечно. Я думаю, что после Наполеона такого яркого политика не было. Видите, Европа... Уже, казалось бы, все, придет Ле Пен и накинёт удавку, а вышло иначе. Так и здесь, в Украине: казалось – ну как же вы победите, армия развалилась, ничего нет, много дураков, коррупционеров, бездарных олигархов? А все-таки что-то получается.

Наш МИД российский злобно сказал: «Получили «безвиз» – это морковка на веревке».

Я на «Эхо Москвы» сказал: «У них хоть есть морковка, а у нас только веревка».

М.: – Спасибо. Будем стремиться быть, как французы, свободными, грамотными, культурными, и чтобы страна наша была такой, как Франция.

